



П. В. ПАЛИЕВСКИЙ

Розанов и Флоренский *

Когда в 1970 году мы в Институте мировой литературы решили напечатать Флоренского, как-то само собой всплыло имя Розанова. Нужно было кратко сказать о политических взглядах Флоренского, и оказалось, что наиболее полно отвечает этой цели письмо Флоренского М. Л. Цитрону в Париж — по поводу издания сочинений Розанова.

Письмо это мы поместили в предисловии к публикации главы Флоренского о слове в ежегоднике Института «Контекст» **, и теперь, видимо, настала пора внести в него окончательные поправки.

Редакция оговорилась, что печатает письмо в извлечениях. Но тогдашний директор Института, который сокращения предложил, почему-то настоял еще, чтобы их сделали без отточий: текст провис, оставляя повод для недоверий и подозрений. Упомянуть об этом хотелось бы ему не в упрек, потому что независимо от того, насколько это понятно со стороны или из других времен, решающим было его согласие публикацию дать, — впервые в изданиях Академии наук СССР. Но раз уж времена действительно иные, воспользуемся ими для восстановления полноты, дающей новый стимул мысли.

Итак — письмо, с тогдашними купюрами, которые мы обозначим в квадратных скобках.

«Уважаемый Марк Львович.

Получив Ваше письмо относительно изданий сочинений В. В. Розанова, я имею сообщить Вам следующее.

* Доклад, прочитанный на симпозиуме, посвященном творчеству П. А. Флоренского, в Бергамо.

** *Флоренский П. А.* Стрoение слова. Вступит. заметка от редакции, комментарии С. С. Аверинцева, подготовка текста А. А. Санчеса. «Контекст-72». М.: Наука, 1973.

Непосредственно после кончины В. В. Розанова я действительно выразил согласие З. И. Гржебину на редактирование сочинений В. В. Розанова. Лично я никогда не разделял многих из его мыслей; но, зная его как одного из самых талантливых современников, полагал, что имею нравственное право редактировать его труды, — так же, как редактировал бы какой-либо извлеченный из недр земли текст древнего автора. [По-видимому, так именно, надо думать, смотрит на подобные издания и власть, управляющая СССР.]

Соответственно с этим я потратил тогда много труда, чтобы разобраться в хаотическом наследии В. В. Розанова и постараться из фрагментов создать за него книги, которых он фактически не осуществил, так как композиция книги всегда производилась им в процессе печатания. В этом отношении я добровольно выполнил свои обязанности и даже более, чем предполагал первоначально. Однако, пока шло время этой работы, З. И. Гржебин уехал за границу и исчез из моего поля зрения, несмотря на все усилия, я не мог узнать, как снестись с З. И.

Но за это время в процессе государственного строительства произошли естественные расслоения, и то, что было законно в первые годы Революции, стало нарушающим общекультурную политику в дальнейшие годы. [Наша цензура стала запрещать то, что разрешалось сперва.] Вдумываясь в принятый властью курс, я увидел, что действительно печатание сочинений В. В. Розанова (независимо от цензурных запретов) приходится считать несвоевременным. [Лично я полагаю, что по миновании известных острых моментов культурной борьбы цензуре будут даны властью директивы более свободного пропуска в печать сочинений, которые хотя идеологически чужды задачам момента, но представляют общекультурный интерес.] Прав я относительно будущего или ошибаюсь, однако сочинения В. В. Розанова сейчас не могут быть напечатаны в пределах СССР, и Вы не можете сказать, что это простая случайность или недоразумение.

Будучи принципиально лояльным, я поэтому не считаю возможным для себя идти в обход общим директивам власти (отнюдь не затрагивающим совести) и стараться во что бы то ни стало напечатать книги В. В. Розанова хотя бы за границей, раз не позволяют это внутри страны. Дело даже не в юридической ответственности, а в сознании незаконности подобных действий, если не по букве, то, во всяком случае, по смыслу действующих у нас правил.

От своего согласия в редакторстве я не отказываюсь принципиально, но сочту себя вправе на деле содействовать Вашему из-

данию лишь с того момента, когда увижу, что таковое издание не стоит в противоречии с общим курсом советской политики.

В заключение позвольте выразить Вам свое сожаление, что не могу удовлетворить Вас. Поверьте, мне, затратившему в первые годы Революции много ночей отдыха на эту работу, не довести ее до благополучного конца более прискорбно, нежели Вам. Однако *amicus Plato, sed magis amica veritas* *.

П. Флоренский».

Как можно понять, купюры не изменили смысла письма. Они выглядят теперь даже не в интересах тех, кто их совершал, — например в попытках скрыть слово «цензура», так как можно с достоверностью утверждать, что цензура необходима любой культуре, и только вопрос, какая: так, по крайней мере, считал Пушкин. А предвидение Флоренского, что настанет час и для сочинений, «имеющих общекультурный интерес», стало сбываться с появлением в печати его самого и некоторых других авторов.

Главное было не в этом, а в том, ради чего мы поместили письмо и что остается загадкой сегодня. Всматриваясь в его судьбу, можно было понять: Флоренский погиб не потому, что боролся с новой культурой, но потому, что с необыкновенным упорством шел ей навстречу. В этом была проблема, достойная изучения. В письме она обозначилась очень ясно. Флоренский «вдумывается в принятый властью курс»; вопреки распространенному мнению признает законным обострение «культурной борьбы» в сравнении с первыми годами Революции **; соглашается с возникшими отсюда ограничениями печати; не желает принимать в их преодолении помощь из-за рубежа — и не по закону только, «а по смыслу действующих у нас правил»; пишет Революцию с большой буквы и т. д. и т. п. Замечательна свобода, с которой он использует новый и до сих пор не слишком складно звучащий язык: «в процессе государственного строительства... естественные расслоения... идеологически чужды задачам момента»... Розанов непременно взял бы эти слова в кавычки; Флоренский пишет их так, как будто изобрел их сам.

Страхом или желанием приспособиться этого не объяснишь. Специалист, приходивший в подряснике на работу в Главэлектро, и профессор, являвшийся в том же облачении на лекции во ВХУТЕМАС (а что там была за аудитория, известно хотя бы из посещения ее Лениным), в подобные представления не уклады-

* Платон мне друг, но истина дороже (лат.). — *Примеч. ред.*

** Письмо писалось в марте 1929 г.

вается. Необыкновенная серьезность, вообще отличавшая Флоренского, заставляет предположить и здесь нечто обдуманное и принципиальное.

Могут сказать, конечно, что шел-то он в эту сторону, шел, но куда пришел... и будут по-своему правы. Но не забудем, что гибель человека не уничтожает смысла его пути, а в той традиции, к которой относил себя Флоренский, пожалуй что, и наоборот. Спротивление, которое он встретил, нетрудно увидеть исторически и в том, что были силы, имевшие свое мнение о началах, которые должны были лечь в сердцевину новой культуры; Флоренский их, естественно, не устраивал. Время еще разберется в условиях и участниках этих событий. Но не менее важно понять, что прозревал сквозь них Флоренский, ведя себя так, как он вел.

То есть сейчас нас более всего интересуют основания, причины его упорства в движении против личной судьбы, которую, как говорят свидетельства, он знал, хоть и надеялся на иное; на что он опирался, идя через ее границы в не понятную ни с каких принятых тогда точек зрения цель. Она небезразлична для современных умонастроений.

Узнать эту цель полностью, конечно, невозможно. Но, быть может, нам приоткроет ее одно место из доклада 31-го года о Блоке, опубликованного «Вестником РХД» *. Этот доклад известен в записи, и в принадлежности его Флоренскому высказывались сомнения (хотя по языку, составу мысли, основным идеям — культура и культ, София, понятие символа, Иконостас и др., — да и по уровню найти ему другого автора вряд ли возможно). Но тем интереснее видится сама мысль, которая была, конечно, не чьим-то личным изобретением, но коренилась в существе проблем. Вот она:

«Современность российская императивностью марксизма принудительно наталкивает (в этом ее добро) на необходимость выбора монистической системы мировоззрения, внутри которой надлежит “расставить на свои места” накопленные ценности культуры» **.

Нужно признать здесь нечто неожиданное или непредставимое для людей соответствующего круга. Церковный мыслитель, то есть принципиальный противник марксизма, признает его благо, да еще в том, в чем тот выступает принудительной силой. И дальше — к объяснению эпохи:

* Вестник РХД. 1974. № 114.

** Вестник РХД. С. 169.

«Сейчас непосредственно ощутимо, что мир расколот религиозным принципом: антитезис марксизму — только христианство (то есть православие)» *. Тут чуть ли не сквозит уже гегелевская триада, которая, как мы знаем, предполагает впереди «синтез».

Надо надеяться, что присутствующие не заподозрят меня в безумном желании соединить марксизм и христианство или написать такую мысль Флоренскому. Прежде всего потому, что, как показал опыт, логические механизмы этих «триад» ничего не объясняют, кроме самих себя; во-вторых, потому, что известно, как потешались и марксисты и люди веры над стремлением «дополнить» их друг другом; и, в-третьих, — что в самом деле нет ничего отвратительнее каши и смешения принципов, где гибнут всякое развитие и мысль.

Другое просматривается в этих словах. То, в чем Флоренский видел главную дорогу среди перепадов истории: необходимость, как он говорит, монистического, то есть цельного мировоззрения **. Чего-то большего, объединяющего личность и мир, где она находила бы свое место и место уже «накопленных ценностей культуры»... — выражение, опять-таки свидетельствующее о знании формул эпохи и желании мыслить с ними заодно. В марксизме и христианстве он, очевидно, усматривал наиболее мощные возможности такого мышления.

Для традиции мысли, в которой он вырос, это было новым, но подготовленным. Какова была эта традиция, он сам сказал в «Столпе...»: «Читатель, вероятно, не преминет заметить значительного сродства теоретических идей славянофильства с идеями предлагаемой книги» (С. 608) ***. В письме Ф. Д. Самарину от 1 августа 1912 года он высказывается еще определеннее: «То лучшее, что думается о русской культуре, всегда органически срастается со славянофильством». При этом мы должны понимать, что идеи этого направления не могут выводиться из самого слова «славянофил»; это было бы таким же смещением смысла, как выведение Белинского или Герцена из понятия «западник». Оба наименования, возникшие в ожесточенной полемике или перебранке, конечно, не передавали существа их мысли, и когда

* Там же. С. 170.

** «Свою жизненную задачу Ф. понимает как проложение путей к будущему цельному мировоззрению», — сказано в автобиографической заметке в энциклопедии «Гранат» (т. 44, с. 144).

*** *Флоренский П. А.* Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи. М., 1914.

в 30-х годах нашего века, то есть ровно через столетие, одно из них было в результате серьезного изучения заменено понятием «революционный демократ», это было только справедливо. Действительно: человек, отстаивающий интересы народа революционным путем. Подобным же образом мы могли бы говорить теперь вместо «славянофила» — «православный демократ», и если сохраняем еще старое обозначение, то потому, что пересмотреть его можно опять-таки лишь после основательных исследований. Между тем славянофилы продолжают быть известны обществу скорее в загадочных отрывках, чем в существе их идей. Жаловаться на это нет оснований, так как «западники» были серьезно вовлечены в общественно-политическую борьбу и законно завладели общим вниманием, Но все же постепенно наступает время и для «славянофилов», прежде всего из-за разработки ими некоторых фундаментальных стратегических идей, того самого «цельного мировоззрения», о котором говорит Флоренский.

Флоренский знал то, о чем мы получили возможность говорить только сегодня: славянофильство и марксизм развивались параллельно. Оба обозначили решимость философии выйти за пределы ума — к действительности. На одном и том же основании они оттолкнулись, пройдя эту школу, от немецкой классической философии, от Гегеля. Высказывания Маркса и Энгельса, отвергающие спекулятивный характер гегелевской мысли, хорошо известны. Но почти совсем неизвестны идеи И. В. Киреевского из его статей 50-х годов о «необходимости другого мышления... стоящего столько же выше логического саморазвития, сколько действительное событие выше простой возможности» (*Киреевский И. В.*, Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 2. С. 320), решительные движения в эту сторону А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина. Разумеется, для одних это был выход к божественному мирозданию, для других — к единству материи; непримиримость и бескомпромиссная критика друг друга должны были, конечно, последовать. В некоторых высказываниях Хомякова как будто она уже и звучит, например:

«Критика сознала одно: полную несостоятельность гегельянства, силившегося создать мир без субстрата. Ученики его не поняли того, что в этом-то и состояла вся задача учителя, и очень простодушно вообразили себе, что только стоит ввести в систему этот недостающий субстрат, и дело будет слажено. Но откуда взять субстрат?.. И вот самое отвлеченное из человеческих отвлеченностей — гегельянство — прямо хватилось за вещество и перешло в чистейший и грубейший материализм. Вещество будет субстратом, а за тем система Гегеля сохранится, то есть со-

хранится терминология, бóльшая часть определений, мысленных переходов, логических приемов и т. д., сохранится, одним словом, то, что можно назвать фабричным процессом Гегелева ума. Не дожил великий мыслитель до такого посрамления...» и т. д. (Хомяков А. С. Полн. собр. соч. / Под ред. И. С. Аксакова. М., 1861. Т. II. С. 302).

Противостояние очевидно. Но не потеряем главного: оба направления уходят от самонадеянных претензий разума заместить собою мир и обращаются к громадной, не соразмерной ни с каким умом объективности. Оба считают, что человек обязан занять в ней деятельное место, быть ее выразителем и творцом одновременно.

Необходимо видеть, насколько далеко это от пути, предложенного Кьеркегором, — к одинокой личности или дальше, к механизмам этой личности, как у Фрейда, или к еще худшей позитивистской мелочности метода «проб и ошибок» и т. д. и т. п. Идея обеих другая — необъятное целое, орудием которого, а не судьей, является ищущий ум.

Это значит, что у Флоренского были свои, хотя и невидимые большинству, основания смело идти навстречу чему-то себе противоположному. Через исторические завалы и разломы он усматривал впереди нечто более важное и в практической работе разных областей стремился вместе со всеми его поднять. Поэтому, когда нам говорят с сопричастным изумлением, что он «предвосхитил идеи кибернетики, Винера» и т. д., это можно выслушивать лишь с тем же основанием, как и утверждения, что Чехов предвосхитил «театр абсурда», а Менделеев — «системный подход». Мироззрение Флоренского, как бы ни опасались в наши дни этого слова, было тотальным. Задачи, уровень, расстояния и цели мысли были направлены к единству и не высказывались до тех пор, пока оно не обнаруживалось в любой рассмотренной мелочи. А движение к тому же центру с другой, противоположной себе стороны лишь вызывало в нем энергию сотрудничества и понимания. Много времени спустя что-то подобное начали искать «теологи освобождения», марксизм «бристольской» школы и т. д. Только у Флоренского все это не стремилось забежать вперед принципами, новой теорией или поспешно запатентованной «наукой», но типично по-русски совершалось на деле. Ничего не говоря заранее, он начал преодолевать своим универсальным умом ограниченности самых разных областей, сообщая им на их собственном специальном языке пути к целому. Когда и насколько оно удавалось, это становилось открытием и нормой будущего.

Все это относится и к В. В. Розанову. В лице своего друга Флоренский нашел человека, способного идти к той же цели изнутри жизни и высказывать на самом простом, бытовом языке «единство несовместимостей», так сказать соединять бытие и быт.

По излюбленной идее Флоренского, «если мир познаваемый надтреснут и мы не можем *на деле* уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их» *. Если истина в попытках ее выражения рассыпается на взаимоисключающие антиномии, в этом нет ничего нелепого или безнадежного. Напротив — в образовавшихся щелях видна ее полнота. Способность Розанова говорить правду независимо от того, насколько одна ее часть противоречила другой, приводившая в содрогание современников, ничуть не пугала Флоренского. Она была лишь подтверждением его теорий. Когда Розанов, например, говорил в начале очерка: «не хочется говорить ничего систематического», это означало для Флоренского только свидетельство наступившего конца «систем» (объявленного, между прочим, и марксизмом). «Систематология в главных, фундаментальных вопросах (для технических задач «системы», разумеется, должны были изощряться и множиться) была для обоих убийством духа. Позитивистское засорение культуры, нараставшее с начала века и заполнившее духовное пространство отходами наук (выдаваемых к тому же за прогресс), смело отвергалось и Розановым и Флоренским. Это, конечно, помогало их сближению.

Розанов был на 26 лет старше Флоренского, но выделял его среди самых близких. «С болью о себе думаю: “Вот *этот* сумеет сохранить”» (Оп<авшие> л<истья.> Короб I. С. 178). Он одним из первых и, вероятно, глубже других отозвался на выход «Столпа...»: «Густая книга» («Новое время», 12, 22 февраля 1914 г.). Появление имени Флоренского в его собственных трудах означает предел, край, о который бьется, ища опоры, мысль. Он добивается от Флоренского ответов как от своего рода последней земной инстанции и, добившись, погружается в сомнения снова. Наибольшее удовлетворение от бесед, писем Флоренского он получает, насколько можно понять, когда удастся «перевести вопрос в другую плоскость» (выражение Флоренского, которое он любит цитировать), то есть поднять жизнь до тех уровней, куда он хотел бы донести ее, но не может, так как при этом исчезает сама жизнь или ее полнота. Помочь ему в этом может лишь узкий круг лиц: «Я и “наши” (Рцы, Фл., Шперк, еще несколько, немного)» (Оп. л. <Короб> II. С. 386).

* «Столп...», с. 157.

Что притягивало Флоренского к Розанову, лучше всего дает понять, наверное, один его отзыв на студенческое сочинение, где он мимоходом, как это случается, определяет главное направление русской философии, и в частности А. С. Хомякова, как искание «конкретных форм для воплощения абсолютного начала жизни» *. Розанов был средоточием этих форм. Ни в XIX веке, ни после не было в русской культуре или в какой-либо другой человека, до такой степени способного видеть абсолютное в текущем — в самом непосредственном, сиюминутном, произвольном и наглядном. В мусоре, в чем-то, кажется, безнадежно заброшенном и ничтожном, у него просыпалась мировая жизнь.

Непредсказуемым явился у Розанова способ ее собирания: «опавшие листья», каждый отдельно, имеющий «поля размышлений» вокруг «опавшей» и как бы лежащей на земле, увядающей жизни. Молчаливые последующие подражания или соревнования с этой идеей («Листья с дерева», «Страницы из дневника», «Незабудки», «Крохотки», «Мгновения», «Камушки на ладони», «Бухтины», «Затеси» и т. д.) даже близко не могли подняться к ее полноте; и не потому, что были плохи, — просто по размаху совмещенных у Розанова расстояний. Флоренский, видимо, оценил это одним из первых.

И как глубок, значителен для нас тот факт, что дружба их не исключила взаимонепонимания. Например, когда мы читаем, как Флоренский говорит — в том же письме из «Контекста», — будто Розанов не осуществил своих книг, что ему пришлось составлять их заново из хаотических «фрагментов», не имеющих композиции и т. д. и т. п., мы как-то сразу начинаем видеть пределы теории, — даже той, которая «теоретически» эти пределы знает, но не может их соблюсти. И обратно, — когда Розанов пишет: «Все-таки я умру в полном, полном недоумении. В религиозном недоумении. И больше всего в этом Фл[оренский] виноват. Его умолчания» (Оп. л. Короб II. С. 292), — мы явно слышим, что он требует от Флоренского того, чего тот сознательно избегал. Флоренский не мог и не хотел распространяться о том, что еще изнутри, само из себя не раскрылось; истина была для него выявлением мира, а не умствованием, пусть самым глубоким, — которое могло, по его убеждению, только разрушить поверхность жизни и затемнить смысл. Незабываемо именовал он людей «но-

* О сочинении студента В. И. Херсонского. В кн.: *Свящ. Павел Флоренский. Около Хомякова (критические заметки)*. Сергиев Посад, 1916. С. 69.

вого религиозного сознания» * «бесстыдниками» за то, что «они обнажают непоказуемое» («Столп...». С. 134); и ему, как он пишет, было «в высокой степени чуждо» их стремление «как бы насильно стяжать Духа Святого» (Там же. С. 128).

Не подлежит сомнению, что мы еще долго будем разбираться в этой дружбе, важной не только мыслью, но и взаимоудивленным личным общением. Может быть, подробности этого общения заставляют нас задуматься сильнее, чем сами идеи или какой-либо теоретический вывод. Особенно из последнего времени их сближения, когда Розанов переехал из Петербурга в Сергиев Посад. Пусть отрывок из письма Флоренского, который я приведу с разрешения семьи Флоренских и публикатора письма П. В. Флоренского, покажет, какое напряжение противоречий еще скрывается здесь. Письмо отправлено 1 июня 1922 года в ответ на запрос художника М. В. Нестерова о судьбе Розанова.

«Дорогой, глубокоуважаемый Михаил Васильевич! С несказанною радостью получил сейчас Ваше письмо... Начну с Вас. Вас. Да, он умер, 23 января 1919 г. после одной из бань, решительно ему запрещенных, его постиг удар; в параличном состоянии он пролежал несколько месяцев, очень неистовствуя и измучив родных. Но наряду с делами почти безумными с ним происходил и благотворный духовный процесс: В. В-ч постигал то, что было ему непонятно всю жизнь. Он “тонул в бесконечно холодной воде Стикса”, тосковал “хотя бы об одной сухой нитке от Бога”, между тем как стигийские воды проникали все его существо. “Вот каким страшным крещением сподобил меня Бог креститься под конец жизни”, — сказал он мне при посещении его. Потом у него началось странное видение: “Все зачеркнуто крестом”. Я: “У вас двоится в глазах, В. В.?” — “Да, физически двоится, а духовно все учетверилось, на всем крест. Это очень интересно”. Мне он продиктовал нечто в египетском духе на тему о переходе в вечность и об обожествлении усопшего: “Я — Озирис и т. д.”. Много раз приобщался и просил его соборовать, он нашел тут священника о. Павла себе по нутру. Твердил много раз, что он ни от чего не отрекается, что размножение есть величайшая тайна жизни; но принял как-то и Христа. Были у него какие-то страшные видения. Когда увиделся с ним в последний раз, за несколько часов

* В примечании к термину «новое религиозное сознание» П. А. Флоренский перечисляет его представителей: Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и Д. Философов. «В разных смыслах и разных степенях сюда же примыкают или примыкали Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), Н. А. Бердяев и др.». «Столп...», с. 684. — *Примеч. ред.*

до смерти, то В. В-ч встретил меня смутно — уже пришептаннми словами: “Как я был глуп, как я не понимал Христа”. За последнее слово не ручаюсь, но, судя по всем другим разговорам, оно было сказано именно так. То, что он говорил затем, я уже не мог разобрать. Это были последние его слова. Перед смертью В. В-ч продиктовал своим бывшим друзьям, и в особенности тем, кого считал обиженным собою, очень теплые прощальные письма. Мирился с евреями. Погребение его было скромное-прескромное, но очень благообразное и красивое. Собрались только самые близкие друзья, бывшие в Посаде. И гроб — Вы знаете, как тут трудно добыть гроб, — попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-черной краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной, и слегка украшенный — крестиком из серебряного галуна. Повезли мы В. В-ча на развальнях, по снегу, в ликующий солнечный день к Черниговской и похоронили бок о бок с К. Леонтьевым, его наставником и другом. Все было мирно и благолепно, без мишуры, без фальшивых слов, по-дружески сосредоточенно. Однако это был лишь просвет. А потом и пошло и пошло. Словно все бесы сплотились, чтобы отомстить за то, что В. В-ч ускользнул от них. — Для могильного креста я предложил надпись из Апокалипсиса, на котором В. В-ч последнее время (пропущено слово) и на котором мирился со всем ходом мировой истории: “Праведны и истинны все пути Твои, Господи”. Представьте себе наш ужас, когда наш крест, поставленный на могиле непосредственно гробовщиком, мы увидели с надписью: “Праведны и немилостивы все пути Твои, Господи” *.

Те из нас, кто бывал в этих местах, знают, что ни могил, ни надписей там нет. У развалившейся ограды посетителей встретят заколоченная церковь и пустырь. Рассказывают, что в 20-е годы здесь помещалось общежитие слепых, и они, постоянно наталкиваясь на надгробия, как-то расколотили их железными палками. Правда эта символическая легенда или нет, зрелище, открывающееся на месте этих событий, удручающе. Мыслитель, название одной статьи которого («Средний европеец как орудие всемирного разрушения») стоит десятка объясняющих современность систем; другой — источник естественных сил, какого, верно, не знала история, восстановитель жизни среди любых химических свалок эпохи; третий — пытавшийся обнять

* Можно было вспомнить, что тут будто отозвалась и розановская мысль из «Опавших листьев»: «Бог не церемонится с человеком» (Короб П. С. 27).

все их проблемы энциклопедическим умом, — исчезают вплоть до буквально по Пушкину: «И мертвец вниз поплыл снова за могилкой и крестом».

Правда, есть у этого русского небрежения, которому оправданий нет, и обратная сторона. Те, кому удалось сквозь него пройти, выбраться из-под растоптанных плит, поднимаются в неподменной подлинности и устанавливаются в культуре навсегда. Розанов, Леонтьев и Флоренский это испытание прошли. Вопрос же о том, удастся ли нам, не теряя трезвости, найти какой-то иной способ выявления ценностей и заменить странное очистительное надругательство чем-то иным, более достойным, остается открытым. Будь моя воля, я поэтому оставил бы эту церковь и этот пустырь, как они есть, поместив лишь за оградой табличку, что здесь когда-то было. Такой памятник был бы, уж наверное, не хуже развалин Мариенкирхе в Дрездене, у которой стоит, обняв Библию, Мартин Лютер.

